

гій было выдвинуто многими экзегетами в концѣ XIX-го и в XX-ом вѣкѣ против морализирующаго истолкованія либеральнаго протестантизма. Но странно, что, параллельно с этой научной тенденціей, но зародилось эсхатологическаго теченія в христіанском благочестіи. Швейцер в этом отношеніи представляет исключеніе. Отсутствие сильнаго мессіанскаго и эсхатологическаго ударенія является источником слабости для современнаго христіанства. Мессіанскій энтузіазм мог бы явиться ферментом жизни для «соціального христіанства». Этот энтузіазм мог бы явиться противовѣсом и преодоленіем ложных мессіанизмов, коммунистическаго и тоталитарнаго государства. В то же время он отвѣтил бы на то, что есть истиннаго и жизненнаго в этих мессіанизмах, на их смутныя чаянія лучшаго порядка. Дерзновенное христіанское мессіанство открыло бы людям великую надежду, против которой и смерть безсильна. Оно провозгласило бы великое освобожденіе, оно сказало бы современному міру то, что Павел говорил грекам: «Сего то Бога, котораго вы, не зная, чтите, я проповѣдую вам». Христіанское мессіанство явилось бы фактором сближенія с Исламом, который предвидит возвращеніе Иисуса перед концом міра, и с іудейством, которое чае мессіанской эры. (Впрочем, судьбы еврейскаго народа внутренне связаны с будущими событіями христіанской эсхатологии, и можно сказать, что этот народ как бы держит ключи мессіанскаго Царства).

Почему великое мессіанское движеніе не могло бы возгорѣться внутри христіанства? Как бы то ни было, будем повторять с вѣрой слова ап. Петра (II, III, 13): «Мы, по обѣтованію его, ожидаем новаго неба и новой земли, на которых обитает правда».

Иеромонах Лев Жилле.

ПОД ЗНАКОМ ГИБЕЛИ

Не буду повторять в тысячный раз характеристики нашего времени. Всякому, кто не слѣп, очевидна его гибельность, всякій, кто не глух, слышит подземные раскаты приближающагося землетрясенія. Но есть в нашей эпохѣ одна черта, утвержденіе которой может показаться парадоксальным, — до такой степени, на первый взгляд, все в ней говорит об обратном. Парадокс этот заключается в том, что наша безбожная, — а не только нехристіанская — эпоха, наше материалистическое, нигилистическое, ланцизированное время вмѣстѣ с тѣм оказывается временем как бы по преимуществу христіанским, как бы призванным раскрыть и утвердить христіанскую тайну в мірѣ. И точнѣе, — тайну христіанскаго Апокалипсиса. Этот парадокс подтвержда-

ется не развитіем каких-либо христіанских ученій, не наличием крупных богословов в различных исповѣданіях, не ростом экуменическаго движенія или успѣхами миссіонерской работы, — а самой сущностью нашей эпохи, ея гибельностью, ея какой-то обнаженностью.

Какими идилическими кажутся нам прошлые вѣка исторіи. Как прочна и неприкосновенна была в них жизнь, — жизненный уклад, границы государств, экономической строй, образ правленія, образ мысленія, стройность философских систем, темп жизни, прочность профессій, налаженность семей, святость частной собственности, мощь церковных организацій и т. д. Гибель, смерть, призрачность жизни, хрупкость быта, — развѣ это было понятно людям послѣдних вѣков? В человѣческих сердцах, в народах, во всем мірѣ царствовала полнокровная и румяная языческая жизнь. Чего же дивиться, что эта языческая жизнь проникала зачастую, — то в грубой, то в утонченнѣйшей формѣ, — и в христіанское сознаніе? Она была госпожей.

И одинокими пророчествами, каким-то эхом вѣчности звучат в этом прочном и временном голоса отдѣльных людей, как Достоевскій и Толстой в Россіи и такія же единицы на Западѣ.

Трехмѣрное пространство казалось ненарушимым. Законы природы преграждали все пути чудесам. Прогресс и эволюція медленно катили свой воз в гору, к общедоступному счастью, к точно вымѣренной справедливости, к трезвому и расчетливому братству человѣчества.

Но вот в наших домах зашатались и упали стѣны, а за ними оказались не привычныя улицы привычных городов, но какой-то необъятный пустырь, по которому разгуливают все вѣтра вселенной. Жизнь оказалась короткой, непрочной и не очень дорого стоящей. Границы государств покоробились и смѣстились. Законы рухнули. На человѣческую душу нахлынул первобытный хаос. вмѣсто крѣпкой, нормальной, самоувѣренной жизни в нашу судьбу ворвалась смерть.

Смерть сдѣлала нас дальнороче и прозорливѣе. Смерть стерла все узоры причудливых рисунков жизни и замѣнила их простым, точным и единственным рисунком креста. Человѣчество, просыпаясь и оглядываясь, с удивленіем и недоумѣніем увидѣло, что оно находится на Голгофѣ. И Голгофа постепенно становится единственным мѣстом, на котором может быть человѣческая душа. Все остальное или обличено или обличается. Все остальное просто как-то не достаточно серьезно, не питательно, не реально, призрачно.

Эпоха, когда человѣчество стоит у подножія креста, эпоха, когда человѣчество дышит страданіем, когда в каждой человѣческой душѣ образ Божій унижен, заушен, оплеван и распят, — это ли не по преимуществу христіанская эпоха? Есть времена, когда можно быть глухим и слѣпым. Сейчас человек не может не видѣть и не слышать.

Бѣдное язычество чувствует, как сгорают его рукотворные идолы, оно напрягает послѣднія силы, воздвигает новых божков. Но ни

кто не хочет обманываться их призрачной мощью. И нѣту ли в этом возрождаемом явно язычествѣ еще одного доказательства того, что наше время по существу своему пропитано духом христіанства? Когда, несмотря на христіанское обличіе, мір был полон языческих чувств, настроеній, вѣрованій, язычество не проявляло себя, оно довольствовалось внутренней побѣдой над христіанством и прятало свои знамена и лозунги. Теперь же, когда, вопреки даже волѣ обязанных душ, все заставляет их взглянуть в глаза христіанской вѣчности, увидѣть свершающійся Апокалипсис, — язычество сбрасывает личину, язычество завѣряет, что оно не умирает на всем протяжении христіанской исторіи, язычество объявляет открытый бой христіанству.

Так вещи становятся на мѣста. Кончился соч, в котором все было обманно и противоестественно. Наступает трезвое утро. Кто знает, — быть может, послѣднее утро в исторіи человѣчества, и кто сейчас не проснется, тому уж не будет времени просыпаться.

Мучительное, пытающее, блаженное, освобождающее утро. В его свѣтѣ ясно виден вознесенный над міром крест. Человѣкъ распинается на крестѣ. Это ли не христіанская эпоха?

Иллюзіи сгорают. Сгорают языческіе боги. Как мал перечень того, что остается. Остается Бог, жизнь, смерть, любовь и простая, честная правда. Все остальное сгорает. И как часто этот пожар пронзает своим огнем самыя нѣдра нашего существа, выжигая вросшіе в них языческіе навыки и вѣрованія, как часто это происходит там, гдѣ этого всего труднѣе ждать.

В прочном языческом мірѣ вчерашняго дня и христіанское сознание испытывало на себѣ огромное вліяніе всей окружающей языческой атмосферы. Вѣками тянулся медленный процесс угашенія огня, окостенѣнія духа, плотнѣнія порывов. Крѣпкій, плотняной, подязыческий быт впѣдрялся в христіанскую Церковь, ритуал являлся мертвым регистратором давно забытых порывов. Основной вопрос тут не только во внѣшних вещах. Основной вопрос в гораздо болѣе тонких и глубоких соблазнах, которые насквозь пронзили христіанское сознание, врѣзались в самый центр христіанства, разложили его человѣческую сердцевину.

Мнѣ хочется привести один самый поражающій примѣр. Я буду говорить о монашествѣ, области как будто наименѣе доступной для языческих вліяній, наиболѣе замкнутой, наиболѣе сильно живущей традиціями самых напряженно-христіанских вѣков.

Для моей мысли совсѣм не важно упоминать о фактах полного языческаго извращенія, которое можно было наблюдать в монашествѣ, о том, что зачастую истинный смысл его был подмѣнен самым неприкрашенным и открытым служеніем міру сему. Часто или не часто это случалось, — не важно. Добросовѣстному и любящему взору ясно, что не этими извращеніями опредѣлялось монашество. Даже тот факт, что подымался вопрос о введеніи в монашескіе обѣты четвер-

таго об'яга, — зарока не пить, — может быть и является знаменіем упадочнаго времени, но по существу не характеризует основного русла монашеской жизни.

Мнѣ хочется говорить о каких-то самых существенных, внутренно-доброкачественных установках, которые мнѣ представляются страшными именно ввиду своей доброкачественности, искренности, ввиду того, что они требовали жертвенности, подвига, аскетическаго напряженія.

Существует обычный довод, когда отвергають возможность активнаго монашества в православіи. Говорят, что оно по существу своему искони было не активно, а созерцательно. Мнѣ думается, что это не вѣрно, во всяком случаѣ не вѣрно в примѣненіи к послѣдним вѣкам его существованія. И главное, не вѣрно такое двухчленное дѣленіе монашества на активное и созерцательное. В него не входит то, что было самым распространенным, самым обычным и припатым в русском монашествѣ. Мнѣ кажется правильнѣе было бы говорить о трехчленном дѣленіи.

Всегда существовало монашество отрѣшенное, созерцательное. По его путям идут немногія единицы. Может-быть, только в рѣдкія эпохи огромнаго напряженія оно может опредѣлять собою цѣлыя теченія, — пустыннослужителей, столпников, молчальников. Напряженіе проходит, огонь гаснет, — и этим путем идут единицы, особо к нему призванныя.

Существует и монашество активное, обращенное к міру. У нас в послѣдніе вѣка было чрезвычайно мало его представителей. Мнѣ кажется, что было бы неправильным опредѣлять его, как нѣкую погруженность в стихіи міра, как нѣкую христіанскую суету. Может-быть, такое обращенное к міру монашество особенно сильно ощущает то, что мір во злѣ лежит. Какой мір лежит во злѣ? Богом созданный, который так возлюбил Бог, что отдал Сына Своего Единороднаго за грѣхи его на смертную муку. И монашество обращается к міру, потому что любит этот образ Божій міра, образ Божій человѣка, прорѣзывает его в грѣхѣхъ и гноѣ исторической дѣйствительности. Как в созерцательном монашествѣ, так и в этом, центральна установка на вѣчность, преодоленіе временнаго, богообщеніе, — или непосредственное, или через подлинное человѣко- и міро-общеніе. И то и другое монашество только тогда достигает подлиннаго своего развитія, подлинной высоты, когда ориентировано на Апокалипсис, на эсхатологию, на грядущее Царство Христово, когда может не только свою пустыню и пещеру, но и свой страннопріимный дом, школу, бібліотеку, больницу, — весь мір, в котором подвизается, — ощущать как храм, когда не боится вѣчно твердить молитву первых христіан: «Ей, гряди, Господи Иисусе».

Призрачность міра обличена. Томящійся в смертной немощи образ Божій в человѣкѣ вызывает пламенную любовь, готовность к слу-

женію, к жертвѣ. Монахъ отдаетъ себя безъ остатка на эту жертву, отрѣкается отъ себя, отъ стяжанія своего, отъ своего куска, крова, благополучія, отъ устройства собственной души, отъ всякаго «образа жизни».

И въ этомъ раскрывается подлинный и глубокий смыслъ монашескаго обѣта нестяжанія. Нельзя думать, что въ немъ человѣкъ отказывается отъ накопленія матеріальныхъ богатствъ, отъ сребролюбія, отъ своей частной собственности. Это само собою разумѣется, но этого не достаточно. Онъ отрѣкается отъ стяжанія-стягиванія своего духовнаго міра въ единое цѣлое, онъ не хочетъ стяжать своего «я». И чѣмъ выше онъ, тѣмъ болѣе до конца онъ оказывается слугою всякаго, — и на службѣ не только его имущество, не только мускулы его рукъ и ногъ, не только думающая голова, — его духъ, его святая святыхъ, его молитва, — весь онъ до конца отданъ на службу, весь онъ до конца хочетъ быть орудіемъ въ рукѣ Божіей.

Идолы падаютъ, сгораютъ. Не только грубые и легко обличаемые идолы плотской похоти, чревоугодія, сребролюбія, нѣтъ, — тончайшіе, изысканнѣйшіе идолы, — культъ «моей» семьи, «моего» искусства, «моего» творчества, «моего» пути, «моего» благолѣпнаго образа жизни, — все обличено. Ничего своего. Самъ человѣкъ, «яко трава», дни его, «яко цвѣтъ сельскій».

И тогда ничего не остается кромѣ любви, и тогда одно желаніе: Ей гряди, Господи Иисусе!

Я уже упомянула, что на фундаментѣ такихъ апокалиптическихъ или, шире, общехристіанскихъ настроеній могутъ вырастать оба типа монашества. Но я также говорила, что не они характеризуютъ монашество послѣднихъ вѣковъ. То, что было въ послѣдніе вѣка, и что, можетъ-быть, не окончательно ушло, — это какъ бы промежуточный типъ. Онъ уводитъ человѣка отъ міра съ его грѣхомъ и скорбями, онъ окружаетъ человѣка высокими стѣнами монастыря, но онъ не доводитъ его до пустыни, до пещеры, до одинокаго стоянія передъ Богомъ. Въ немъ человѣкъ не сиръ, не опустошенъ и чагъ, а въ прочномъ кольцѣ братьевъ своихъ, въ прочномъ противостояніи міру, подъ защитой, за оградой.

Есть одна точная параллель этому монашескому типу въ свѣтскомъ мірѣ, — это семья. Да и въ просторѣчій мы часто видимъ, что передъ человѣкомъ стоятъ на выборъ два пути — семья и монашество, — одинъ какъ бы замѣняетъ другой.

Мнѣ кажется, что по существу это совершенно не вѣрно: монашество упирается въ эсхатологию, а семья вырастаетъ изъ природныхъ, подзакопныхъ корней матеріальнаго міра. Но фактически, если говорить о монашествѣ этого послѣдняго типа, то параллель между нимъ и семьей дѣйствительно существуетъ. И въ томъ, что эта параллель дѣйствительно существуетъ, играетъ роль одно изъ самыхъ основныхъ свойствъ монашескихъ обѣтовъ, правда, воспринимаемое въ нѣкоторомъ искаженіи. Это обѣтъ цѣломудрія. Онъ приводитъ въ подавляющемъ большинствѣ своемъ къ монашеству людей, не имѣвшихъ собственной семьи, не строи-

ших личной жизни, не увидѣвших остраго противорѣчія, абсолютной несомѣстимости личной жизни и неизбѣжнаго для монашества апокалиптического устройства духа. Произошло очень странное явление, которое постепенно переродило основныя монашескія установки.

Желаніе построить семью вовсе не исчерпывается стремленіем удовлетворить плотским инстинктам, земной тягѣ к любви, даже к дѣторожденію. В основѣ семьи также лежит еще один инстинкт, чрезвычайно могучій в человѣческой душѣ, — это завиваніе гнѣзда, организація и строительство своей собственной жизни, отдѣленной стѣнами от міра, замкнутой на крѣпкіе засовы. Человѣкъ создает свой образ жизни, человѣкъ печется не только о своем матеріальном благополучіи, но и о нравственной чистотѣ своей жизни, о ея внутреннем благолѣпіи, он ее ограждает от внѣшней грязи, от всякаго засоренія, он ее хранит, он в ней утверждает свое личное «я» и свое семейно-коллективное «мы», — противопоставляя их всякому внѣшнему «они».

И вот люди, искренне принимающіе обѣтъ цѣломудрія, отказываются от одной части того, что заставляет строить семью: они не примут ни плотской любви, ни дѣторожденія. Но они принимают все другое, что лежит в основѣ построения семьи. Они хотят устройства своей жизни, общности быта, высоких стѣн, за которыя не проникает грязь и скорбь міра. Они строят нѣкую духовную семью, и ограждают ее, и берегут от всяких посягательств, как святыню. Человѣкъ начинает отдавать все силы, чтобы обезпечить ей матеріальное благополучіе, нравственную чистоту, чтобы поддержать в ней дух братскаго единства. Он много физически трудится для этой монашеской своей семьи, он отказывается от личных благ во имя общаго, во имя своего общежительнаго устава, он приносит жертвы.

На первый взгляд, тут все очень хорошо, даже прекрасно.

Вѣдь, инокъ значит иной, — а в таком случаѣ он обязан осуществить это иное в отдѣленіи себя от всего міра и в единеніи с такими же иными, с иноками. Высокія стѣны и замки оправданы. Оправдана святость и недоступность монашескаго очага, — параллельно святости и недоступности семейнаго очага.

Да и не только на первый взгляд это все прекрасно, — бывают эпохи, дліяющіяся вѣка, когда и по существу не может быть иного монашества за исключеніем ничтожнаго, ничего не опредѣляющаго количества монахов, имѣющих к другому монашеству какое-то особое личное призваніе. И в такія эпохи отшельники уходят из монастырей в пустыни, а люди, видящіе свое призваніе в отдачѣ себя на служеніе міру, всего чаще и не постригаются, а создают странныя облики юродивых и блаженных, ничего не берегущих, не строящих своей жизни, являющихся по слову апостола сором для міра, не имѣющих склонности ни к каким стяжаніям.

Кто знает, не они ли по преимуществу иноки, т.-е. иные по сравне-

нію со всіми живущими по мірским законам, — охранять, копить, беречь?

Но об этом не приходится задумываться, когда мір благополучен, юродствуют единицы, и единицы чувствуют апокалиптические знаки в человеческой истории. Когда мір благополучен, законно и оправдано именно такое традиционное бережение монашеского очага. С одной стороны, в этом есть элемент, — пусть тончайший, еле замѣтный, — языческаго вліянія, от котораго почти никакая душа не свободна, а, с другой стороны, это есть и бережение себя от языческих вліяній, от прелести міра сего. В монастырѣ эти прелести тоньше, облагороженнѣе, благозвпнѣе.

Это если говорить о прошлом. Ну, а когда само время учит нас вѣчной правдѣ свершающагося Апокалипсиса, когда время, наперекор безбожным душам, которыми полон мір, само по себѣ становится вѣстником апокалиптических свершеній, когда человечество дѣйствительно возводится на Голгофу, когда нѣту путей, и нѣту устроений в мірѣ, — можно ли в такую эпоху, в нашу эпоху принять обычное, традиционное двухвѣковое монашеское прошлое, как нѣкоторое обязательство для монашескаго будущаго? Нѣт, нельзя.

И как ни трудно поднять руку на благозвпную, проклизанную любовью прекрасную идею монашеской, отгороженной от міра, семьи, на свѣтлый монастырь, — все же рука подымается.

Внутренній голос требует нестяжанія и в этой области.

Пустите за ваши стѣны безпризорных ворюшек, разбейте ваш прекрасный уставной уклад вихрями вѣшней жизни, унизьтесь, опустоштесь, умалитесь, — как бы вы ни умалались, как бы ни опустошались, — развѣ это сравнится с умаленіем, с самоуничженіем Христа, — даже не на Голгофѣ, не на позорном крестѣ, а в Вифлеемских яслях, когда ангелы пѣли вокруг, и мір был полон благоволенія?

Примите обѣт нестяжанія во всей его опустошающей суровости, сожгите всякій уют, даже монастырскій, сожгите ваше сердце так, чтобы оно отказалось от уюта, и тогда скажите: «Готово мое сердце, готово».

Бывают времена, когда все сказанное не может быть очевидным и ясным, потому что сам воздух вокруг нас язычествует и соблазняет нас идольскими чарами.

Но наше время, — оно дѣйствительно христіанствует в самой своей страдающей сущности, оно в наших сердцах разбивает и разрушает все прочное, все устоявшееся, освященное вѣками, нам дорогое. Оно помогает нам дѣйствительно и до конца принять обѣт нестяжанія, искать не «образа» жизни, а «безобразія», юродскаго безобразія жизни, искать не монастырских стѣн, а полного отсутствія самой тонкой перегородки, отдѣляющей сердце от міра, от его боли.

И сейчас нам даруется не христіанство, погруженное в стихіи мі-

ра сего, а крест его, огонь его, самоотречение и самоотдача, экатология христианская.

И не надо думать, что все сказанное относится исключительно к монашеству. Я говорила о нем, чтобы ярче выявить мою основную мысль. Но эта основная мысль, мнѣ кажется, опредѣляет собою судьбу современного міра в его цѣлом. Она проста и ясна.

Время обернулось сейчас апокалиптическим ангелом, трубящим и вызывающим в каждой человеческой душѣ. Случайное и условное свивается, как шлуха, и обнажает вѣчные корни жизни. Человѣкъ стоит перед гибелью. Гибель обличает ничтожность, временность, хрупкость его мечтаній и стремленій. Все сгорает. Остается только Бог, человеческая душа, вѣчность и любовь.

Это так, — для каждаго, — для монаха и мірянина, для христианина и язычника, для праведнаго и грѣшнаго.

И кто хочет в наши страшные дни идти единственным путем, уводящим от гибели, — «да отвергнется себя, и возьмет крест свой и идет».

Монахиня Марія.

ВСЕМІРНЫЙ СЪѢЗД ПРАКТИЧЕСКАГО ХРИСТИАНСТВА В ОКСФОРДѢ

I

Может показаться удивительным, что люди, исповѣдующіе одну и ту же религію, хотя и распавшуюся на нѣсколько различных исповѣданій, но сохранившую общность основных учительных книг, общность преданій, обрядов и таинств, не могут прийти к согласію в основных вопросах жизни и выработать ряд общих точек зрѣнія по основным практическим проблемам, поставленным современностью. Перед лицом общей надвигающейся опасности безвѣрія и культурнаго одичанія, грозящаго христианскому міру, вопросы христианскаго поведения и христианской жизни должны были бы, как кажется, получить отвѣты однозначные и для всѣх христиан обязательные. Если этого нѣтъ, то не превращается ли само понятіе христианства практически в пустой звук?

Убѣжденіе в возможности найти такую общность лежит в основаніи движенія, которое возникло в 1925 году на созванном, по инициативѣ архіепископа Унсалскаго, Натана Седерлема, Съѣздѣ христианскихъ церквей в Стокгольмѣ. На съѣздѣ этомъ родилось так на-